



Николай Ольков

Рассказы

ПОСЛЕДНЕЕ ОТКРОВЕНИЕ

Рассказ

В небольшом северном городке захватила меня непогода, аэродром закрыли, десятка два неприкаянных пассажиров, видно, не в первый раз, терпеливо переждали пургу. На все вопросы ответ диспетчера был один: как только успокоится, всех и отправим. Я не стал терять время, достал из сумки диктофон и стал прослушивать запись своих северных разговоров. Пообещал редактору три очерка, он согласился, и совсем незнакомого журналиста отправил в столь солидную командировку.

Приближался полдень, но это только по часам, белесая пелена, затянувшая все пространство над аэродромом, над городом и над всей Северной стороной нисколько не изменилась, дул ветер, и кто-то огромный могучими пригоршнями бросал охапки сухого и колючего снега. Солнце иногда пыталось выглянуть и посмотреть, что там, внизу, но его сразу прятали снежные объятия. Я пошел в буфет, не особо рассчитывая на вкусный обед, встал в очередь, продолжая слушать. Кто-то остановился рядом и тронул меня за плечо:

– Простите, вы Устичев?

– Да, – ответил я, чуть обернувшись и вынимая наушник. Рядом стоял солидный мужчина в дорогом полушубке и аккуратных унтах, красивую шапку из неизвестного мне зверя держал в руках. Где-то я видел этого человека, но сообразить не успел.

– Простите за бестактность, ждать нам долго, потому предлагаю поехать со мной, обед и ужин гарантированы, билеты продублируем по телефону, а самолет будет не раньше завтрашнего полудня.

Пока он говорил, я вспомнил, что видел его в областной администрации, он вел совещание по сельскому хозяйству, вел жестко, четко, требуя от выступающих конкретных объяснений и предложений. Кажется, он кого-то даже освободил от должности, отчего обстановка стала еще напряженной. Я тогда все доложил редактору, он, видимо, человек осторожный и хорошо знающий субординацию, предложил ограничиться краткой информацией. Было жаль потраченного времени.

– Не напрягайтесь, я Миргородский, заместитель губернатора. А вас знаю как писателя, дочка принесла несколько книг, прочитал, пока болел гриппом. И книги понравились, и портрет ваш запомнил. А потом вижу, в нашей газете печатаетесь. Так принимаете предложение?

Он куда-то позвонил из кабинета начальника, через полчаса в зал вошел мужчина и оглядел присутствующих, кого-то выискивая. Миргородский кивнул мне, мы вышли, уселись в «Волгу» и осторожно поехали в сторону города. Остановились у небольшого особняка, закутавшаяся в шаль женщина встретила в вестибюле:

– Пожалуйста, Вениамин Матвеевич, номер готов.

– Нужен двухместный. Со мной товарищ.

– Хорошо, подготовим и ему номер.

– Я сказал: двухместный! И сразу хороший обед. Две бутылки коньяка. Тот, что вчера подавала, армянский. Помнишь?

Признаться, меня все смущало: почему большой начальник выбрал в компаньоны именно меня? Допустим, книги сыграли роль. Тогда почему он настаивает на двухместном номере? В одноместном же удобнее. К тому же я немного храплю, крайне неприятное обстоятельство. И приличный, как я понял, обед с коньяком – этому чем обязан?

– Ты опять напрягся? Не возражаешь, если на «ты»? Не этим определяется уважение, я всегда перехожу на официальный тон, когда хочу поставить собеседника на место. Знаешь, действует. Ввожу в курс: это гостиница бывшего горкома партии, я ее построил, когда работал первым, здесь все чика в чика, полный порядок. А я тебя сразу заметил, ну, и пригласил, когда понял, что все равно придется сутки коротать.

Две девушки принесли супницу, глубокие тарелки с мясом и рыбой, термос с кипятком. Достали из буфета горку чистых тарелок, из холодильника две бутылки коньяка, рюмки, лимоны и шоколад.

– Здесь как у товарища Сталина на даче: все приготовлено, а дольше самообслуживание. За этим столом сживали большие люди. Кто? Косыгин Алексей Николаевич, премьер, как сейчас бы сказали. Бывал часто Байбаков Николай Константинович, Рыжков Николай Иванович, все вице-премьеры. Одно слово – Север, нефть, газ.

Хозяин положил в свою тарелку солидный кусок мяса с овощами, большую вилку и ложку передал мне: самообслуживание. Налил по большому фужеру коньяка, потянулся чокнуться.

– Прости, дорогой мой, я не запомнил твое имя.

– Леонид, Кириллович, если официально.

– Леонид. Был у нас и тезка твой Леонид Ильич. Хороший мужик, но стержня нет, и пропало все дело. Давай со знакомством.

Выпили, поели мяса. Перед очередным блюдом Вениамин Матвеевич налил еще по фужеру. Коньячные рюмки сиротливо стояли на краю стола.

– Давай выпьем за женщин, Леонид. Собственно, женщина и стала причиной нашего сегодняшнего знакомства. Непонятно, правда? Я поясню. Ты сны видишь?

– Бывает.

– Не придаешь значения. Может, в твои годы и правильно. Давай вздрогнем, как говаривали мы в годы комсомольской юности.

Вздрогнули. Я никогда не пил коньяк такими дозами и чувствовал, что пьянею.

– А я сегодня видел во сне женщину из далекой молодости. Честно признаюсь, что забыл ее напрочь, ни разу не вспоминал, правда, был один случай... А сегодня явилась во сне, как будто вчера расстались.

Он встал, порылся в портфеле и вынул пачку сигарет, закурил.

– Курить бросил, но сигареты держу на такой вот случай. Скажи, писатель, инженер моей души: почему женщина тридцатилетней давности вдруг приснилась и столько замутила в сознании? Я тебе все расскажу, не отказывайся, иначе я запью горькую и в губернию не попаду.

Он налил себе конька и выпил молча.

– В молодости я работал по комсомольской линии, получил отпуск, приехал к родителям в деревню. Июль месяц, грибной сезон. Отец мой только что получил от государства

«Запорожца» с ручным управлением, у него правой ноги по самый пах не было, отпилили где-то под Кировоградом. Вот на этой машине возил я их с мамой по грибы. Отец все места груздяные знал, командовал, куда рулить, ставили машину в тень, отец указывал, куда нам идти, а сам отбрасывал костыли и передвигался на пятой точке. Кстати, нарезал груздей больше, чем мы с мамой. Но не в этом дело. Едем из леса через маленькую деревеньку Борки, а дело к вечеру, мама говорит:

– Сынок, чтобы дома в магазин не ездить, остановись возле лавки, возьми хлеба.

Я зашел в маленький магазинчик, смотрю – Лариса, в школе вместе учились, только она года на четыре младше. Конечно, обрадовались, не виделись лет пять. Спрашиваю, как жизнь, она улыбается:

– Нормально. После школы уехала в Омск, работала, училась в вечернем техникуме, замуж вышла, а как сына родила, муж меня и отправил по домашнему адресу.

– А почему ты здесь, а не дома у родителей?

– Отец не пустил с приплодом, а тут бабушка, его мама, приняла.

Я хлеб в авоську положил и смотрю на Ларису: красивая, фигурка девичья, волосы копной рыжеватые. Не удержался:

– Лариса, я к тебе вечером приеду? Можно?

– Приезжай, – кивнула она и покраснела.

Вечером помыл машину, попарился в баньке, и к ней. Лариса еще в магазине, порядок наводит на полках, потом ведро взяла и тряпку большую на деревянной швабре.

– Поберегись, – смеется, – а то уляпаю твои белые туфли.

Правда, я пододелся, надо же понравиться женщине, брючки светлые, белая рубашка, туфли. А тут неловко сделалось перед Ларисой, она и так устала за день, лицо покраснелось, лоб влажный от пота. Беру я у нее тряпку, ведро, и, как учил армейский старшина Шкурко, лью воду на пол и работаю шваброй. Лариса села на прилавок, ножки поджала, смеется. И до того мне стало легко и хорошо, подошел к ней, обнял влажными

руками, только ладошками не касаюсь, чтоб не испачкать, и крепко поцеловал. Кое-как она выпросталась из объятий, смутилась, но я ведь вижу, что ей приятно. А ворчит:

– Не можешь чуток потерпеть, а если бы зашел кто?

– И пусть. Кого нам бояться? Ты девушка свободная, я тоже.

– Не ври. Я поспрашивала, сказали, что женат. А зачем врать?

Конечно, мне неловко. Опять обнял ее, шепчу на ушко:

– Лариса, не надо об этом. Ты нравишься мне, правда, я едва вечера дождался. Не гони, а?

Она соскользнула с прилавка, оглядела мою работу, засмеялась. А смех у неё колокольчиком звонким, почти детский.

– Веня, ты вино пьешь? Я поставлю в коробку бутылку портвейна, стаканы, конфеты. Ко мне нельзя, не хочу, чтобы бабушка знала. К тебе поедем? – Она опять засмеялась своей шутке. – В машине посидим, выпьем за встречу. Ты меня до дома довези и встань за околицей, я через часик подойду. Сын же у меня, я говорила.

Дождался. Прибежала, платьице на ней легкое, шарфик газовый, теперь таких уж нет, вся светится, села рядом со мной, повернулась, ухватила за голову и присосалась, целует и плачет. Я даже испугался, оттронул ее, а слезы-то радостные, с улыбкой.

– Ты не подумай, Веня, что я каждому мужику вот так на шею бросаюсь. Ты мне еще в школе глянулся, я совсем соплюшкой была, а ты видный, отличник, комсомольский секретарь. Если хочешь – поинтересуйся, никто слова плохого про меня не скажет.

И опять жметса, я чувствую, что мелкая дрожь в руках, обнял, а она как-то обмякла вся, потом спохватилась, оттолкнулась и за коробку:

– Открой вино, а то зябко.

Врет, конечно, июль месяц, вечер прохладный, но в машине стекла подняты от комаров и мошкары. Выпили мы по стакану вина, портвейн был «три семерки», чистый, приятный. Ты, наверное, и не видел такого?

Я улыбнулся:

– Не успел.

Тут мой рассказчик насторожился:

– Прости, Леонид, я тут расслабился. Тебе не интересно?

– Интересно. Говорите.

– А что говорить? Предложил я Ларисе выйти из машины. За деревней березовый колочек на бугорке, насобирали сушняка, костер зажгли, я старое одеяло тайно от мамы прихватил, расположились с вином и конфетами. Опять обнимаемся, целуемся, она жметя ко мне, но мне воли не дает. Я крепился-крепился, а потом спросил напрямую:

– Лариса, если я тебе не нравлюсь, зачем согласилась, зачем целуешь до помрачения?

Она смеется:

– А я с прошлой пятилетки не целованная, вот, наверстываю. Венечка, милый, чуть поторопились мы со свиданием. Кроме поцелуев ничего пока предложить не могу.

А сама от смущения зарылась мне в плечо и легонько покусывает. Я к тому времени уже битый был мужик, мало чему мог удивиться, а тут такая по мне теплота пошла, так стало радостно, что слезу пробило. Лежим рядышком, обнимаю ее, трепетное тельце чувствую через ситцевое платишко, волосы ее, полынкой пахнувшие, вдыхаю, груди мяконикие губами отыскиваю. Лариса до уха моего дотянулась и говорит тихонько:

– Веня, ты меня не разбалуй, не надо так, я ведь и поверить могу, а ты через неделю пропадешь. И что мне тогда? В петлю? Нельзя, сына надо поднимать.

Что я мог ей сказать? Воздержался от скоропостижных обещаний. Так в объятиях и рассвет встретили. Уже светать начало, зариться, как говорят у нас в деревне, Лариса легонько оттолкнула меня и прошептала:

– Измучились мы, все равно ничего не получится, увези меня домой, поспать до коров осталось два часика.

Подъехали к домику, она нежно, как ребенка, чмокнула меня в щёку, в губы:

– Завтра приезжай попозже, чтобы не ждать. Пока я разберусь с хозяйством. Ладно?

К вечеру следующего дня собрался дождь, забусил, прибил пыль на дороге, все живое под крыши загнал. Я оделся легонько, спортивный костюмчик, тогда трико называли, тапочки легкие, и в Борки. Лариса вышла уже по темноте, села в машину и смотрит на меня в упор. Я смутился:

– Что-то случилось?

– Случилось, да. – Она помолчала. – Веня, уезжай скорей домой. Я видишь, какая, как кошка: приласкал, так у ног и останусь, благодарная. Боюсь, что полюблю тебя. Да и уже люблю. Сегодня весь день только про тебя и думала. Понимаю, что глупости это, только у бабы по этой части ума никогда не хватает.

Помню, что смутило меня это признание. Одно дело, когда встретились, покурдались и расстались, а тут девчонка на таком серьёзе. Что я могу ей предложить? Женат, сыну второй год, а из партии и с работы попрут – это само собой. Понимаешь, – он плеснул в бокал конька и залпом выпил. – Понимаешь, было у меня ощущение, что это именно та баба, какая мне нужна. Красивая, чистюля, что на ней все скромненько, но приятно посмотреть, что в магазинчике её. И страстная, откровенная в чувствах, я терпеть не могу жеманниц. Душа к ней рванулась, это помню. Обнял тонкие её плечики, она опять в грудь уткнулась и что-то шепчет. Прислушался – ничего не пойму.

– Ты говори громче, Ларочка, я не пойму ничего.

– А тебе и не надо понимать. Я молю Бога, чтобы ты поскорей уехал и забыл меня.

– Мне в субботу надо выезжать, два дня осталось. Лариса, пойдём к тебе, бабушка спит...

– Нельзя. Мне будет стыдно.

Дождь стекал по стеклам машины, не оставляя никакой надежды на старенькое одеяло. Так и прообнимались, пока Лариса на часы не глянула:

– Ой, уже третий. Венечка, приезжай завтра.

Выходя, она крепко меня поцеловала и улыбнулась, я видел её улыбку в свете слабенького фонаря:

– Весь день буду молиться, чтобы дождь перестал.

Дождь шел два дня подряд, мы смирились с судьбой и, как школьники, обнявшись, говорили о каких-то пустяках. В последний вечер я попросил Ларису взять немного денег. Она смутилась:

– Веня, я зарабатываю.

– Ты не поняла. купишь себе часы золотые, подарок от меня. Возьми, прошу. Лариса, я буду скучать по тебе и всегда помнить. Мне так сильно хочется прижаться к тебе, всю тебя почувствовать. Я с ума схожу!

Она тихо шепнула:

– А я-то!

На том и расстались. Осенью меня направили в Москву в партийную школу, семью оставил дома, так что время проводил весело. Про Ларису и не вспоминал. На летних каникулах поехал к родителям, автобуса дожидаться не стал, остановил грузовик с зеленой полосой, был такой опознавательный знак для транспорта потребкооперации. Водитель, молодой мужчина моего возраста, не очень разговорчив.

– Ты через Доновку поедешь?

Он кивнул.

– Товар везешь?

Опять кивнул.

– В Борках продавцом Лариса работает?

– Нет, она теперь в Луговой.

– А почему?

– Замуж вышла, теперь жена моя.

Честно скажу, я испугался. Это же деревня, ничего не скроешь, мама моя мне выговаривала, что с толку сбиваю хорошую бабочку. Значит, и он мог знать про нас с Ларисой. Не думаю, что ему приятна эта встреча.

– А ты почему интересуешься?

Я ничего не успел придумать и ляпнул первое, что пришло в голову:

– Брал у неё в долг две бутылки водки, а рассчитаться не успел, уехал. И родителям не сказал.

Парень головы не повернул, сказал безразлично:

– Давай, я передам.

Я быстро вынул бумажник и протянул ему деньги. Он положил бумажку в карман и продолжал рулить, не глядя в мою сторону. Неужели он знает? Любопытство побороло осторожность, и я уточнил:

– Скажешь, что от Миргородского.

– Знаю, – ответил он равнодушно.

Вот так, дорогой мой писатель, какие штуки выкидывает жизнь.

Я молчал. Получается, что эта романтическая история случилась не менее тридцати лет назад. Но почему он о ней вспомнил именно сейчас?

– Вениамин Матвеевич, вам сон напомнил о Ларисе?

– Да, сон. Но сон случился не просто так. Я недавно в гостях был у Ларисы. Признаться, на родине давно не бывал, родителей похоронил, родных никого. Ты знаешь, что мы пытаемся сохранить производство в деревне, но не всегда получается. Есть и в моем районе приличные частные предприятия, но есть населенные пункты, где вообще все производство загубили реформаторы хреновы. Сразу не подвернулся деловой человек, а временщики все прибрали к рукам, скот на колбасу, технику сбывли по дешевке. Народ остался без работы, выживай, как знаешь. Приехал я в родное село и ужаснулся: все мертво. Фермы растащили, поля заросли, в село понаехали чужие люди. Сидит в сельской администрации бывший парторг, старый мой знакомый. Пожаловался, такую тоску нагнал. Прикидываю, что могу сделать для земляков. Был у меня проситель с предложением серьезно заняться картофелем, вот, думаю, предложу ему здесь развернуться. Но главе ничего не сказал, а спросил:

– Неужели нет у тебя ничего, что бы сердце порадовало? Неужели мои земляки совсем руки опустили?

И он предлагает посетить семью, которая держит десяток коров, сотню овец, бычков продает на мясо. Машину легковую имеют и новый дом строят. А самое интересное в том, что в одном доме родители и дети с внуками, да так дружно живут, что всей деревне на зависть. Я кивнул: поедем, хоть одно приятное впечатление от посещения родины.

Приехали в Луговую, остановились у строящегося дома, рядом старый стоит и все вокруг обнесено хозпостройками, пригонами у нас зовут помещения для скота. Дело было осенью, по холодку, но скот пасется, разумный хозяин корма экономит. Встретил нас молодой мужчина и супруга его, пригласили в дом. Глава знакомит с молодыми и старшими хозяевами, у меня очки запотели, протираю стекла платком, руки пожал, а имен не расслышал. Хозяйка ставит на стол большую жаровню с мясом, хлеба нарезала домашней выпечки, бутылку водки разлила по стаканам. Сын рассказывает про хозяйство свое, говорит, что плохо помогаем крестьянам. Спрашиваю:

– Что тебе нужно сегодня, чтобы работать без проблем?

Он сразу отвечает:

– Видел в агрофирме комплекс сенозаготовительный, но дорого, нам не подняться.

– Половину стоимости закроем бюджетом, вторую часть поделим на пять лет, но при условии, что для земляков будешь сено заготавливать по себестоимости плюс двадцать процентов ренты. Все с главой согласуете.

А мама его подсказывает:

– Сережа, проси доильный аппарат. Мне прямо жалко сноху мою любимую Клавочку. Когда все коровы растелятся, попробуй этот табун продоить. Сама хожу, помогаю.

Тут глава вмешался:

– Лариса Михайловна, мы же вам года три назад доильный аппарат продали!

– И что с того? Разве это машина? Одно слово: не иначе китайский, года не прослужил. Не в обиду начальникам – далеко вам до советского. Вот часики золотые, тридцать лет идут и ни разу не остановились.

У меня сердце зашлось: это же Лариса! Узнала, дала знак, что узнала, я поднял глаза, она улыбается той самой улыбкой. Чуть расплелась, а лицо той же красоты, как я мог не узнать?! Смутился, встал из-за стола, поблагодарил хозяев и вышел во двор. Молодые пошли провожать, а я ждал Ларису. Она подошла, подала руку. Я молча пожал и пошел к машине. Тронулись, она подняла правую руку, а левой смахнула что-то со щеки.

Вениамин Матвеевич замолчал, прижег сигарету, глубоко затянулся. Я не смел мешать. Было заметно, как сильно переживал он рассказанное.

– Понимаешь, Леонид, вот тогда я понял, что упустил свое счастье. Жена, дети выросли, а семьи не было, и нет. Да, я сделал карьеру, на мне огромная ответственность за аграрный сектор, миллионами распоряжаюсь, как своими. Много могу позволить, а радости нет. Может, это было мое место в жизни около Ларисы? Мои дети сейчас доили бы коров, я помогал им построить дом, ласкал бы вот этих трех внучат, которые смиренно сидели в соседней комнате и вышли только тогда, когда бабушка позвала проститься с гостями. Тогда я ее упустил. Ты знаешь, есть еще одна деталь в этой истории. Перед отъездом от родителей я решил вымыть машину, под дождем на грунтовке три ночи, не оставлять же отцу свой грех. Протираю пыль в салоне, и вижу у правого сиденья внизу рычажок. Нажал – спинка откинулась назад. Я чуть не заплакал от досады. Понимаешь, этот рычажок мог все изменить. Мог. Переступив эту черту, я мог решиться на отчаянный поступок. Но ничего не произошло. Давай еще по чуть-чуть, и спать.

К обеду погода наладилась, нас привезли прямо к самолету, но при посадке мне сказали, что мой билет в другую машину, она стоит рядом. Кивком головы я попрощался со своим новым знакомым. Самолеты поднялись один за другим и взяли курс на юг.

Утром я пришел в редакцию и узнал страшную новость: вчера в самолете скончался заместитель губернатора Вениамин Матвеевич Миргородский.

– У него, видимо, слабое сердце, – сказал редактор. – В последнее время он был сам не свой, говорили, что даже ушел от жены и жил на даче. Как такое возможно в пятьдесят лет? Не понимаю.

Я не стал ничего ему объяснять, уехал домой и всю ночь просидел с бутылкой армянского коньяка, которую перед отъездом из гостиницы Вениамин Матвеевич засунул в мою сумку.

Николай Ольков

СЕРЕБРЯНЫЙ КУПОЛ

В ГОЛУБОМ НЕБЕ

Деревенская быль

– Четыре братца пошли на речку купаться. В небе молния сверкнула, с неба кумушек упал. Один перекрестился, другой недокрестился, двое за руки взялись! – Оттароторил Венька и накатил на друзей: – Чё получилось? Кто знает?

Знали, конечно, все, но связываться с Венькой не хотелось, он спорун страшный и никогда не признает, что проиграл, всегда упирал на то, что «на правду сойдется». Венька выше других ростом, серые и всегда грязные волосы торчали на темени и на затылке, придавая хозяину грозный вид. На руках «цыпушки» – летом кожа трескается от воды и грязи. «Цыпушки» были и у всех других ребяташек, кроме Славки – мать за ним следила. Этим летом она дала Косте вазелин, он вечером с мылом тер руки и смазывал, обернув платком умершей матери. Венькин отец Анатолий Брызгин был бригадиром тракторного отряда, а прозвище носил Беспалый, потому что в войну сплеховал, и какая-то штука разоралась в его кулаке. «Э-э-э, – говорили вернувшиеся солдаты. – На втором году службы он не знал, как с миной обращаться? Его надо было в штрафбат или к забору, а он домой поехал с забинтованным кулаком». Анатолий по большой пьянке проболтался, что в полевом госпитале положила на него глаз пожилая врач-хирург. Ну, не сказать, что пожилая, однако офицеры ее отодвигали, пробираясь к юным медицинским сестрам. Анатолий и до войны был парень сообразительный, выучился на тракториста, а как призывать начали, удостоверение спрятал, с командой прибыл в танковый батальон, а там признался, что хоть прав и нет, но в танкисты шибко охота. Знал, конечно, что никто его дубликаты запрашивать не будет, и остался Анатолий при батальоне на подхвате.

Взрыватель у него в правой руке сработал подозрительно удачно, в аккурат перед танковой атакой – не до него. Ребята на броню и вперед, он кровавый кулак под мышку и в госпиталь. Дарья Власьева вся в предчувствии поступления раненых и обгоревших, быстро окромсала ему куски кожи и раздробленные фаланги, однако на каждом пальце по обрубку остались. Хирург работала без особой заботы о состоянии пациента, ни обкалывания, ни наркоза – полстакана чистого спирта, это она называла прифронтной анестезией. Анатолий мужественно перенес экзекуцию и был вознагражден поцелуем в засос. «Солдат, я тебя при госпитале оставлю, демобилизацию организую, пошли ко мне в кабинет, потискай меня, ты же мужчина». С этого момента началась у Венькиного отца новая жизнь. Три месяца обслуживал он Дарьюшку, которая оказалась на пятнадцать лет его постарше, но всегда приговаривала, что она, любовь, то есть, ровесников не ищет, и выжимала из молодца все соки. На усиленном пайке Анатолий отъелся, а когда начальник медслужбы корпуса увидел его в палате, сразу все понял и предложил хирургу в течении суток решить судьбу солдата. Дарья Власьева подготовила протокол военно-врачебной комиссии, который без сомнения подписали все, кому следовало. Вкусивший волюшки гулеван оказался очень кстати в деревне, где выросло целое поколение не целованных девок, и тосковали молодые вдовы и просто солдатки. Анатолий так размахнулся, что к нужному сроку не восемь ли малышей приняли повитухи, и все матери в сельсовете указали на Тольку Брызгина. Перепуганный насмерть угрозами троих отцов испорченных им девок, троих фронтовиков и отчаяю, он на годик смотался в дальнюю МТС и переждал ненастье. Вернулся с женой и двумя ребятишками, чем поверг в смятение всю деревню. Расчет был простой: ну, привези он близнецов трехмесячных, тогда бы все было в порядке, а парнишка пяти и девчонка трехлетняя в эту арифметику не укладывались. Вся деревня говорила, что это отлились слезыньки невинных девиц и вдов-молодок, Толькой искушенных, Бог, оказывается, шельму все-таки метит, вот и попал Анатолий в руки бабочке, у которой два брата всю войну в тюрьме просидели, а сейчас вернулись поприличней победителей, в хромовых сапогах и при шляпах. Анатолий жил у вдовы на правах мужа, а когда брательники появились, смикитил, что сие не в его пользу и вроде собрал чемоданчик для перебраться в общежитие. Брательникам это пришлось не по душе, Анатолию показали две обоюдоострые финки, способные продырявить его насквозь вместе с фуфайкой, и сказали, что только он от любимой сестрицы дернется, то с того дня бабы уже будут ему без надобностей. Брательники согласились, чтобы новая семья переехала в деревню мужа, но предупредили: только один раз что узнают... По приезде Анатолий неделю пил, пока председатель не пригрозил НКВД, бражку пришлось бросить

и начинать работать. На том веселая часть жизни Анатолия Брызгина окончилась. Но будет еще другая.

У Кости наоборот, отец Максим должность исполнял на лошадке, вечером уезжал к работающим в поле тракторам или комбайнам, а перед тем с утра, пока бабы не ушли на работу, объезжал дома всех механизаторов. В поле кормили только один раз за счет колхоза, а во всякое иное время надо было развязывать семейный мешочек и кормиться, что супруга прислала. Мужики принимали его гостинцы, ужинали и продолжали пахать, сеять или молотить, пока погода позволяла или пока сон не валил. Особенность этих его обязанностей позволяла Максиму знать кое-что из семейной жизни, чего бы постороннему человеку знать не следовало. Было, что стукнув в окно Ульянки Макуриной, за бесшабашно отдернутой занавеской увидел метнувшегося в сенки Ваню Соловья. Среди дня Ульянка прибежала, сунула в Максина ходочек с плетеным коробком поллитровку и стыдливо прикрылась платком. «Максим Петрович, ради Христа, никому не сказывай, до моего донесется – зарежет ножиком. Слышь, Макся, ежели что, дак тебе-то я всегда открою за доброту твою». Максим был большим шутником: «Ладно, сговорились, только седни не жди, от Ваньки обсохни, да на седняшний вечер у меня уже одна намечена, тех я вовсе голяком прихватил на соломенной подстилке у погреба». «Поди, колется солома-то?» – Посочувствовала Ульянка. Максим хмыкнул: «Знамо, что колется, дак они же не дураки, мужнин тулупчик раскинули». Знал Максим, кто какие щи варит, вкусно из печи через чувал пахнет, или так себе. Знал и видел хлебы, какие укладывали ему бабы для мужей своих. Дивился на пышные булки, на круглые калачи, печеные на горячем поду, были и такие, что совали в мешочках твердые, как кирпичи, ковриги, и на ехидный вопрос Максима «Чего это они у тебя так испугались, что присели?» одинаково поспешно отвечали: «Ой, да! Квашня не подышла!». По мешочкам этим отмечал он мужиков любимых и для баб своих, как свет в окошке. Баб сердечных по кошелкам определял. В тех мешочках были баночки со сметаной, десяток вареных яиц, первые огурчики, если по сезону, а то и вместо шматка надоевшего сала половинка отваренной курочки. «Вот, – думал Максим, – в одной деревне жили, одну травку на вечерках мяли, от одних дождей под утлые крышки сараев прятались, а одни сошлись, как так и надо, а иные ненавидят друг дружку, только все равно живут. Сам он, как говаривал, «для семейной жизни не годен», на фронт никто не провожал, кроме матери, ни одна бабочка по нему слезинки не проронила, потому что к тридцати своим годам, к явлению повестки военкоматовской, вновь Макся оказался холостым, хотя признавался, что «не три ли раза его отец под венец водил». Отвоевался, когда осколком снаряда оторвало

ступню, потом из-за гангрены пилили ножонку еще дважды, Макся все шутил, что так могут и до причинного места добраться, но обошлось, перед коленком перехватили дурную кровь. На диво всей деревне не самый бракованный мужик женился на вдове с двумя ребятишками. Мать ругалась, а он свое: «Уйду к ней. Тянет». «Ну, и протянете ноги всей семьей, ты калека, она малая ростом и телом слаба. Кто робить будет?». Но Максим с Марией еще одного мальчонку прижили, вот он сейчас в этой кампании и попрекал Веньку, что тот верх всегда силой берет. «А чем надо?» – нагло спрашивал Венька. «Умом» – сам не зная, почему, резко отвечал Костя. Он был низкого роста и сильно худой, можно подумать, что больной. Нет, в беге, или когда «попа гоняли», не уступал многим, плавать не умел, потому что пяти лет по недосмотру сводных братцев чуть не утонул, потому воды боялся. Белобрысый, веснушчатый, с высоким лбом и чуть оттопыренными ушами, впечатлительный и обидчивый.

У Володьки Бороздина отца не было вовсе, нет, в самом-то начале он, конечно, был, а потом исчез. Володька его не помнит, а у матери ни единой фотокарточки нет, и не было, кто в те годы в деревне портреты делал? Никто не знал, на кого похож парень. Крепкий, сильный, злой. На лице шрам во всю щеку, но это не по драке, это он сонный упал с полатей и зацепился за гвоздь. Тогда все говорили: хорошо, что не глазом. Володька единственный из друзей, у кого есть отчим. Володька зовет его отцом, только не любит, и тот Володьку не любит, однажды при Косте назвал недосыном. Костя спросил друга, кто это такой – недосын, а Володька с обиды ударил его под дых. Вообще под дыхалку просто так бить не разрешалось, потому что после этого долго в себя приходят, а тут сорвалось. Костя долго стоял, согнувшись, Вовка ждал, потом хлопнул по плечу. Извиняться никто не умел. Отчим с матерью родили еще троих ребятишек, младшую сестренку к пяти годам увезли в интернат для слепых, и больше дома ее никто не видел. Вовка здорово играл в бабки. Дядя Семен, родной брат его отца, был колхозным кузнецом, он такую плитку племяшу изладил – всем на зависть. Вырезал из толстого железа прямоугольник, посерединке дырку пробил, острые грани сточил и зубилом по горячему словно вышил слово матерное из трех букв. Володька носил плитку на веревочке, которую перед игрой снимал и прятал в карман, и по подсказке отчима брал с игроков по одной бабке за кон. Проигравшиеся убегали домой, чтобы вырветь у матери гривенник и купить у Вовки десять бабок – по копейке за штуку. Володька был отчаянней всех, потому что никто не мог сделать круг на все еще вращающихся крыльях брошенной ветряной мельницы, а он мог. Когда крыло вставало прямо перед ним, он запрыгивал повыше, цеплялся руками и ногами и медленно плыл в высоту. Момент невозврата наступал, когда следующее крыло

оказывалось между ним и землей. Володька вставал вниз головой и вся ребетня замирала. Так же медленно крыло вставало в нижнее положение, Вовка прыгивал и, презрительно осмотрев публику, ложился на траву отдохнуть. Все благоговейно стояли рядом. За нелюбовь и нечастые подзатыльники Вовка мстил. Отчим с весны до осени по двору управлялся в литых лаковых калошах. Калоши те стояли на крыльце под жиденским навесом. Первый раз, промочив носки, отчим пинал кошку, потом ругал бабу, что неловко несла воду в ведрах и сплеснула из ведра, наконец, очередь дошла до кровли навеса. Почерневший шиферный лист хозяин заменил свежим и пропустил по карнизу две тесины. Когда он снова с матерками пришел в избу снимать мокрые носки, жена принялась: «Проня, свята икона, от тебя все время мочой пахнет. Ты случайно в калоши не попадаешь?». Володькины проказы отчим изобличил и хотел побить, но мать спрятала сына за спину: «Только тронь!». «И трону». «Нет, не тронешь. Проня, я тебе за сироту горло ночью перережу». Проня поверил, но Вовке стало еще хуже. А тут еще он упал с березы. По весне ребетня уходила в лес на весь день. Из дома брали по краюхе хлеба и спичечный коробок соли. На всех было одно ведро «подойничек, маленькое и легкое, прокопченное, кажется, насквозь. В лесу питались. Летом дома есть нечего, кроме молока, что в кринке оставит мать в погребе от утреннего удоя, все остальное на молоканку, в зачет каких-то поставок. А в лесу уже можно было нарыть саранок, вкусных и сытных луковиц, сломить молодую пучку, а всего ценнее – найти колонии гнездовищ сорок и ворон. Тут все лезли на деревья, проверяли гнезда, небольшие яички складывали в рот и спускались. Кто-то уже нашел старый обвалившийся и заросший смородиной единоличный колодец, ведро с водой стояло наготове, а куча сухого валежника обещала быстрый обед. Общими силами вдавливали во влажную землю две рогатки, поперек ложили обломанную сырую осинку, на нее вешали ведро. Прикидывали, чтобы вода только чуть скрывала яйца. А сбор продолжался, птицы грозно кричали, пикировали на грабителей, обливали жидким вонючим раствором. Все терпели разбойники, потому что даже закричать нельзя: полный рот добычи. Да, бывало, что сваренное яйцо было запарено, в ином и птенчик просматривался, но все остальное съедалось вместе со скорлупой. В этот раз Володька сплеховал, сучок под ним обломился, и он полетел вниз, крича во все горло и выплевывая раздавленные яйца. О нижний крепкий сучок Вовка ударился боком, неловко крутнулся вокруг него и свалился без сознания. На него плескали воду, дули в лицо, потом сняли рубаху и испугались большого синяка на боку. Когда друг зашевелился, его приподняли, он не мог говорить, только высунул кончик едва не до совсем откушенного языка. Шла посевная, кто-то побежал на дорогу и вернулся с машиной. Шофер, сродный дядя Володьки, накидал всем по загравкам, пнул ведро с

яйцами, посадил парня в кабину, всем велел прыгать в кузов и сидеть тихо, как мыши. Володьку увезли в больницу, но ничего страшного не нашли, через неделю отпустили. Володька был героем.

Славка считался у ребят самым счастливым. Он всегда был чисто и аккуратно одет, но команды не гнушался. Широколицый, глаза большие и серые, лохматые, как у взрослого, брови. Славка один из всех нравился взрослым девчонкам, они ловили его и целовали, пока он не вырывался, вытираясь чистым платком и тихонько матерясь. Во-первых, его родители работали учителями, Вера Семеновна учила младшие классы и к друзьям никакого отношения не имела, зато Василий Матвеевич, фронтовик, раненый в лицо, отчего из-за разбитой челюсти речь его была резкой и жестковатой, всем своим видом нагонял страх. На уроках физкультуры учил ходить строевым шагом, делать комплекс упражнений, учил лазать по шесту и по канату. Зимой, поскольку лыж на всех не хватало, гоняли по площадке футбол. А потом были уроки труда, где надо было правильно держать ножовку, рубанок, топор. За каждый промах Василий Матвеевич строго выговаривал и гнал от верстака. Однако все они только со временем поняли уроки учителя, когда с одного удара вбивали гвоздь, ловко строгали полки для первого своего угла. Со Славкой дружили, но домой к нему отваживался ходить не каждый. Славка иногда брал ключи от лодки, прикованной на плесе, звал с собой Костю, и они выезжали блеснить, или гонять блеску. Славка подплывал под самый берег Малого омута, бесшумно укладывал на дно лодки весло и начинал по правому борту запускать блеску, разматывая с катушки толстую леску. Косте доставался левый борт. Славка закладывал леску за ухо, чтобы слышать блеску, а Костя держал в руках, чуть поднимая над водой, меняя глубину. Щука хватала блеску жадно, как живого чебачка, леска дергалась, и тогда счастливчик ловко выбирал леску, подводя добычу к лодке. Чаще всего подались небольшие шуругайки, их звали «локотушки», но случались и серьезные щуки, выводить которых было не просто. Если щука срывалась и уходила, Славка ругался матом и показывал на раскинутых руках, какая рыбина ушла. Костя срывы переносил спокойно, все равно за вечер достанет три-четыре штуки, принесет домой, и новая мать, пятая по счету после смерти мамы, похвалит, рыбу почистит, подсолит и поставит в погреб – для всякого случая. Славка был единственным из всех ребятишек деревни, кому вырезали аппендикс. Летом пошли поиграть в Лебкасный лог, полазить по карьерам, в которых в войну и после еще несколько лет люди копали левкас, скатывали его в небольшие головы и продавали в городе на рынке. Левкас – не прижился, проще было звать лебкасом. Наигрались, пошли к старице искупаться, и на взгорке наткнулись на солодку, невзрачная трава, но корень у нее сладкий. Полакомились,

а Славка, видно, то ли проглотил часть корня, то ли грязь попала – вечером заорал от боли в животе. Отец завел мотоцикл М-72, усадили Славку в коляску, Мария Семеновна села на заднее сиденье и поехали в участковую больницу, что в десяти километрах от деревни. Славка потом рассказывал, что утром хирург, который его резал, принес на блюдечке его аппендикс и поставил на тумбочку. Был он похож на крючковатого жирного червяка. Славка уверял, что только отвернулся, глянул – а блюдце пустое. Позвал медсестру, всей больницей искали и не нашли. Ребятишки верили. Мария Семеновна, когда узнала, строго-настрого запретила Славке врать. Он, если честно, то и почти не врал совсем, так, реденько.

Деревни в Сибири – как люди, вроде и похожи друг на дружку, а приглядишься – далеко не родня. Есть такие, что вдоль озера одной улочкой выстроены, а в соседней все дома в куче, только переулки и разделяют. Наша на отличку ото всех, две улицы повдоль, две поперек, только у малой речушки Сухарюшки с одной стороны дома поставлены, а на береговом склоне бани прилепили. Это в Зареке, где первые поселенцы облюбовали. Сказывали старики, что из Смоленской губернии переезжали всем селом, не только скарб – церковь деревянную разобрали и на новое место перевезли, сложили и вновь освятили. А потом пригнали казаков с какого-то восстания, семьями, да большими, землю им отвели по их выбору. Казаки в основном оказались народом вполне приличным, помогали храм строить и ходили потом молиться. О судьбе своей не шибко делились, но случалось, на ночной рыбалке Илья Казаков (их всех такой фамилией называли) после вечерней ухи и бокальчика самогонки рассказал, что в их станицу прибежали гонцы от Емельки, но народ не хотел ввязываться, да и какая нужда: у каждого хозяйство, земля, дом. Еще думалось: и супротив царя как? На круге решили старики: ни одного казака в разбойные банды не пущать. А когда сам Емелька пришел, выслушал старшинское решение, стариков велел пороть на площади, чего в века не бывало, а всех казаков от шестнадцати до пятидесяти лет с конем и оружием в строй. Правда, скоро и баталии с войсками начались, наскочила на нас конница, а мы покидали оружие и сдались. Суд был неверный, не учли нашу невольность, а погнали в Сибирь. «Одно хорошо, – сказал Илья, – что места тут золотые и народ славный. А там видно будет». Случился в Петровки большой пожар, тогда чуть не полдеревни выгорело, ладно, что догадался Паша Менделев, огонь еще в сотне метров, а он велел свой дом разобрать. Верно говорят, что ломать – не строить, в минуту крышу скинули и бревна выкатили на середину улицы. Вот тут огонь и захлебнулся. Тогда и церковь сгорела. Кто видел, клялись, что горела она, как свеча, такой же язык пламени, только огромный. А потом три столба огня ушли в небо, потому что было в церкви три

престола, они с огнем всю святость унесли в небеса. Сразу народ послал ходатаев в Тобольск ко владыке, но тот денег на храм не дал и не обещал, а проект, мастерами нарисованный, благословил. Вернулись ходоки, глаза в пол: нет ничего и не будет. И тогда восстал народ: «Отчего не будет, ежели мы того желаем?». Собирают сход и решают, с какого дома сколько серебром ли, ассигнациями или зерном или мясом должно быть внесено. И казначея избрали, и ящик сковали в кузне под два замка: один у казначея, другой у старосты. И прорезали столь узкую щель, что туда ты монету либо бумажную денюгу просунешь, а обратно ей уж нет ходу, сколько ящик не тряс. Да и трясти его было невозможно, приковали в волости к полу надежно. Десять лет собирали по крохам, а когда вскрыли ящик, оказалось довольно, чтобы артель подходящую искать. Сыскали в уездном городе Шадринске, мастера проект посмотрели, потом велели показать, где может глина залегать, для кирпича пригодная. Все кругом изрыли, а нашли под берегом Сухарюшки, рядышком. Так мяли мастера, и этак – сошлись, что весьма годна для делания кирпичей. Стали формы ладить да глину месить, всей деревней сходились. Потом сараи рядами выставили, наделали полки, сырые кирпичи выкладывали и каждый день переворачивали, сушили. Дальше артельщики из этой же глины сбили большую, как пещера, печь, народ носил кирпичи, а мастер командовал, как укладывать. Потом разожгли большой огонь, вход в пещеру замуровали, только снизу оставили пустоту для тяги воздуха. Густой влажный дым выходил в задней части печи, мастера ни на минуту не отлучались, то тягу уменьшат, то дымоход приоткроют. Все лето работали. Отверзнут артельщики ворота в печь, народом начинают выносить обожженный кирпич в отдельные сараи. Потом мастера стали искать место для церкви, всю деревню с тихим молебном обошли, остановились на взгорке, где по утрам коров собирают в табун. Сделали замеры, вбили колышки, велели священника везти, чтобы освятить место и водружальный крест поставить. Три лета артельщики выводили стены, башенки и купола, потом кресты нарисовали и велели кузнецам браться за дело. Купец Афанасьев нужного железа привез. Чудные вышли кресты, легкие, как воздушные. На водружение опять батюшку привезли, самые отчаянные мужики, благословясь, поднялись по веревкам на алтарь, укрепили крест, потом на колокольню, и крест тяжелый, но с божьей помощью укрепили и его. Большой молебен отслужили. А по зиме на крепких санях, запряженных четверкой тяжеловозов, аж из города Каменска привезли колокола, один большой, поди, на сто пудов, да набор вплоть до маленького, в четверть пуда. Опять служба, опять охотники лезут наверх и по указке мастеров крепят колокола на мощных дубовых бревнах, матицах, вложенных в стены. На освящение прибыл сам владыка, народ собрался весь, от стариков до младенцев, тут же крестили и исповедовали. А батюшка, назначенный на приход, перед народом на

колени встал и благодарил за храм, и нарекли его при освящении в честь Рождества Христова.

Великий разум и могучая сила создавали эти места. Вот только что ни спроси – все есть. Озеро прежде всего, на берегу которого в давние времена, еще до переселенцев, в землянке жил старец Афоня. Кидал с берега утлый невод, доставал несколько рыб, и тем жил. Говорить уже не мог либо не хотел. Умер тихонько, и стали мужики место для кладбища искать. Выбрали под Горой высокий песчаный бугор, там и упокоился раб божий Афоня, а чтобы долго имя новой деревни не искать, сказали «Афонино», и всем поглянулось. Сколько глаз видит, вьется Гора из казахских степей и далее в холодные северные края, местами крутая, а потом опять спокойный склон. Изрезана оврагами и логами, как шрамами по телу отчаянного ратника. Сразу на Горе березки да осинки, заросли смородины, малины и ежевики, а еще костянка, голубянка. В июле попрут грибы, неведомые, но бабы быстро разобрались, что самый добрый после белого – груздь настоящий, очень хорош вымоченный и засоленный – аромат, вид благородный и похрумкивает. В трех верстах в глубине мелколесья вдруг возникает широкая лента сосны, кедра и лиственницы. Так лентой и стелется вдоль Горы. Обошли мужики после первой посевной окружные земли и подивились: столько воды, не то озеро, не то старица. Старицы переходили одна в другую, и имена получили разные: Мочище, Малый омут, Афонино, Большой омут, Прорва. Это с одной стороны. А с другой так намешано, что и не разобрать. Вот Арканово, ну, точно озеро, но вытянутое, все равно река. А дальше Диконькое, Слепое, Утиное, Поперечное, Ванькино, Калачик. А кроме того – с полсотни малых озерин, которым и названия не стали давать. Все это было в давние времена, Костя записал от стариков, кто что помнил. А потом приехали ученые, три недели жили в палатках и изучали местность. Ученые – это для ребят, на самом деле студенты-землеустроители, изучали их старицы, изрезавшие всю подгорную часть деревни. Старицы эти сильно интересовали Костю, вечером он подъехал к палаткам на велосипеде, отец купил после смерти матери, хоть чем-то отвлечь парня. Студенты варили картошку, очищенная селедка и лук уже томились на сколоченном из досок столе.

– Проходи, молодой человек! – Радужно пригласил кашеваривший паренек в трусах и майке. – Что скажешь?

Костя знал, что надо сказать:

– Все названия у нас для озер, а по форме почти все речки. И откуда питаются? Неужели везде родники бьют? И почему их только у нас так много, в других местах, мужики сказывают, настоящие озера, круглые, по километру и боле?

Парень засмеялся:

– Ты вопросов задал на целый вечер разговора. Леня, иди, посмотри за картошкой, а я удовлетворю любопытство будущего исследователя. Ты знаешь, что рядом протекает река Ишим, узкая, мелкая, но – река. Так вот, мы склонны считать, что ваша Гора есть берег древнего Ишима, потом произошли какие-то изменения, Ишим сузился и принял нынешний вид. А в тех местах, где испокон веков били родники, образовались озера и старицы. Форма их могла зависеть от плотности грунта и интенсивности родников. В целом понятно?

Костя кивнул:

– А где второй берег древнего Ишима?

Студент развел руками:

– Нету. Ни на одной карте нет ничего похожего. Скорее всего, берег был пологим и скоро сравнялся с окружающей местностью. Картошку с нами будешь есть?

Косте было неловко садиться за чужой стол, но за время после смерти мамы и длительных гуляний отца он научился отличать, когда приглашают от души, а когда ради приличия. Вот несколько раз приходили к Славке, Мария Семеновна заставляла мыть руки и садиться за стол. Славка упирался, он только что ел. Мария Семеновна сурово на него смотрела, и Славка послушно хлюпал умывальником. Такого супа Костя никогда не ел, такой хлеб никогда не мог испечь отец. А потом появлялась тарелка с картошкой и котлетой. Сверху полито чем-то белым, но не сметаной. Вот и здесь он увидел доброту, она не заметна сытым и счастливым, но обиженные жизнью улавливают ее проявления сразу. Костя степенно брал круглую картошку и макал в подсолнечное масло, полученное студентами на колхозном складе. Он знал, что это то самое масло, для которого они всей школой осенью выколачивали зерна из шляп подсолнухов, потом семечки сушили, веяли на ветру и везли в Красноярку на давяльню. Оттуда привозили масло во флягах, отец тоже получал с пол ведерка на трудодни. Раздавленные семечки лежали на самом дне. Съел две

картофелины, сказал «Спасибо», поднял свой велосипед. Тот студент, который ему объяснял, подошел, подал руку:

– Ты приезжай, мы тут еще с неделю поработаем и в город. Ты в каком классе?

– В шестой пойду.

– Учишься хорошо?

– Ударник.

– А книжки любишь читать?

– Шибко люблю, только у нас библиотеки нет, сгорела, а в школе совсем маленькая, я все книжки перечитал.

Студент удивился:

– Во как! Назови свои имя и фамилию, мы тебе пришлем книги. Обязательно. Приезжай, пока мы здесь.

«Хорошие люди, – ехал и думал Костя. – Городские, а по-простому разговаривают».

Деревня гудела. Ранним утром бабы коров в табун сгоняют – об этом речи и тревоги. Мужики на наряд собираются – вместо анекдотов о том же разговор. Председатель колхоза, из которого всю душу вымотали эти вопросы, взвыл и резко послал всех. Прошел слух, что в районе принято решение с церкви снять купол. Что касается колоколов и крестов, то их сорвали еще в тридцатые годы, на правом крыльце до сих пор видна глубокая вмятина от большого колокола, который при ударе развалился пополам. Колокольня, надстроенная над сводами, была пуста, и мальчишки лет двенадцати проходили испытание: надо по лестнице добраться до бревна, на котором крепились колокола, и пройти по бревну от стенки до стенки. Высота больше пяти метров, бревно в длину восемь широких шагов, специально замерили, внизу кирпичное перекрытие церковного свода, каждый понимал, что упал – убили. Но это испытание проходили все. Костю после смерти матери освободили, Толя Синий, парень пятнадцати лет, не учился и в колхоз не брали на работу, вот он и руководил всей деревенской оравой, он и сказал, что Писаря (Костю звали Писарем, он умел сочинять стишки) нельзя допускать на колокольню. Костя вместе с другими поднимался на верх и наблюдал с завистью, как

наиболее отчаянные пробегали по матице бегом и даже встреч друг другу, ловко разводясь при встрече.

Наконец, слухи в один день стали правдой. В сельсовете обсуждали, как проще сорвать купол. История повторилась, деды вздымали церковь, зачав кладку основы в глубокой трехметровой яме, а потом за великую честь считалось, если тебе удалось попасть в артель для установки крестов и подъема колоколов. Специальный молебен за этих людей служили, чтобы все у них обошлось и благополучно дело свершилось. А теперь внуки советовались, как эту красоту разрушить. Ни у одного в душе не дрогнуло. Но шел мимо лесник соседней деревни, Ваня Однорукий, а еще Березка. Однорукий потому, что правую руку минным осколком, как бритвой, срезало, вместе с гимнастеркой. Сказывают, Ваня-то за ней поначалу кинулся, а потом уж сознание отлетело. Стал он верующим, на дальнем кордоне часовенку маленькую срубил, картинка! Кто-то по привычке стукнул, куда надо, приехали начальники, полюбовались, ни слова не сказали. Всякий раз, проходя мимо церкви, он останавливался, и долго молился, крестясь левой рукой. И в этот раз он понял, что сотворят со святой красотой эти люди, чуть в сторонке встал на колени и склонил седую голову.

– Отмолился, Береза, снесем купол, чтоб вид не создавал, и устроим в твоей церкви пекарню, – захохотал Митя Рожень.

– Ошибаешься, добрый человек, церковь не моя и не твоя и не их всех – она Господу Богу принадлежит, сиречь она и есть его дом на земле.

– Да хоть и дом. На небе он у вас живет, а дома на земле? Снесем, Однорукий, – злился Рожень. – Ровное место будет. Как будешь молиться? В лесу колесу?

– Опять ошибаешься, добрая твоя душа. Месту будем молиться, святому, великую силу имеющему. Гляжу на тебя – не ты ли первым падешь ниц и станешь землю грызть и просить Бога убить тебя по грехам твоим?

– Иди, иди, пока я тебя не проводил. Ишь, развел опиум! Землю я буду грызть! Хрен тебе, Однорукий, коммунисты ни перед кем в ногах не валялись, тем больше – перед богом, евреями придуманном.

Бабы зашумели на Митю, Иван Березка поднялся с колен, и, не отрясая пыли со штанов, пошел своей дорогой, вытирая слезы пустым рукавом рубахи.

Главный колхозный инженер предложил поднять на колокольню мощные тросы, которыми тракторы таскают солому, продернуть из окна в окно и обвязать один угол. Весь купол и держится на этих четырех углах. Нашлись и охотники, назвали цену, начальство посовещалось и решило уплатить. На другой день Митя Рожень, Гриша Крутенький и Вася-Машкин сын залезли на колокольню, на ременных вожжах притянули тяжелые тросы, долго возились, закидывая вожжи из восточного окна в южное, ведь надо было угол обогнуть, потом чуть не сорвался Рожень, один ухватившись за конец подтянутого троса. Трос пропустили через вплетенное на заводе кольцо, и конец подали вниз. Тут уже стоял трактор С-80, тоже с тросом, который крючками сцепили с верхним. Мужики на всякий случай спустились с колокольни. Надо тянуть, а Ганя Паленский вдруг из трактора вышел и отказался ломать церковь, сославшись на мать, которая заявила, чтобы после этого греха он дома не показывался. Колхозный председатель ткнул локтем Анатолия Брызгина: «Ты бригадир, ты и решай!». Анатолий сам сел за рычаги, трос стал медленно натягиваться, все напряглись, рев машины нарастал, тросы гудели, колокольня вроде чуть даже приподнялась. Толпа народа собралась вокруг, старухи крестились, старики курили молча. Все – продавцы и покупатели сельповского магазина, животноводы, свободные от управы, механизаторы с ремонта в мастерских, школьники, побросавшие уроки, и увещающие их учителя – все в незнакомом ужасе ждали чего-то страшного. Но в это время гусеницы трактора букснули, и он стал медленно зарываться в землю. Анатолий сбросил обороты и выскочил из кабины. Все были ошарашены. На стене только штукатурка потрескалась. После обеда перевязали трос на другой угол, пробовали не в натяг, а рывком – ничего не получилось. Председатель колхоза велел поставить трактор на место и прибрать тросы.

– Григорий Андреич, и что же делать? – Чуть не заплакал председатель сельсовета. – Мне в районе дали всего три дня.

– Вот видишь, время у тебя еще есть. Нанимай мужиков, пусть долбят.

– Чем!? – Изумился председатель.

Андреев улыбнулся:

– Не было бы баб вокруг, я бы подсказал. А так – придется лома брать и пешни.

Народ рассосался, все вокруг церкви опустело, и она стала еще более одинокой, чем была прежде. Костя стоял у магазина, прижавшись спиной к прохладной стене, и глядел на

самый верх церкви, где когда-то стоял главный крест. Он видел фотокарточки, снимали свадьбу или митинг на могиле жертв кулацко-эсеровского мятежа еще до войны, и кресты, и колокола было хорошо видно. Сейчас он, прищурившись, пытался представить крест, золоченый, восьмиконечный, но черная, давно не крашенная железная кровля не позволяла вырастить на ней величавый крест. Тогда Костя стал представлять белый, серебряный купол, а потом золотой крест, и у него получилось, серебряный купол на фоне голубого неба принял крест, и они вместе поплыли ввысь, медленно, и Костя глядел, не сморгнув, на это чудо, пока слезы застили глаза, и видение исчезло. Но он по-иному смотрел теперь на бывший еще утром сиротливый купол, хлопающий листами оторванного ветрами железа, на потрескавшуюся штукатурку церкви, они перестали быть чужими и беззащитными, церковь стояла теперь, как православный воин после изнурительной битвы, израненный, с пробитым шлемом, одеждой, порванной мечами чужеземцев, почти истекающий кровью, но непобежденный. Костя вытер слезы и увидел рядом однорукого Ивана Березку.

– Ты плачешь, дитя мое? Господи, благослови сие мгновение! Ты видел, как серебряный купол с золоченым крестом уходил в небо? Радуйся! И Господу нашему великая радость. Благодать снизошла на тебя, сын мой, сохрани ее и она проведет тебя по жизни прямо к ногам Бога нашего. Беги с миром!

Володьку мать встретила в воротах, вечером на Голой Гриве была большая игра в бабки, пришли ребята из Казаков, бабок принесли по два кармана. Долго бились, зареченские все продулись, как шведы, а у казачат бабок не меряно, скота чуть не табунами держат. Только тайно все, в дальних лесах загоны поставили, днем пасут, к ночи загоняют и охраняют, не столько от зверя, сколько от чужого человека. Ребятишки тоже натыкались на загоны, только не было никого из казахов, все скот пасли. Бежали оттуда без оглядки. В прошлом годе терялся колхозный пастух Чиликов, неделю не было, а потом обнаружился дома, сказал, что вино пил, потому на работу не ходил. А кто ему поверит, если Чилик по болезни желудка вино на дух не принимал! Потом слушок прошел, что наскочил он случайно на загоны казацкие, словили сторожа и держали, пока на иконе Пресвятой Богородицы не поклялся, что не выдаст. Вот и сразились, у Володьки глаз острый, плитка к руке льнет, своя, родная, а казачата все мимо да мимо. Правда, без драки обошлось, казачата задиристые, а тут куда попрешь, в чужом краю, да и зареченских больше. Володька ни одной бабки, ни единой люшки не упустил, все собрал в мешок и домой.

– Ты смотрел, как над храмом изголялись? Смотрел? Зачем тебя туда понесло?

Вовка заартачился:

– Один я разве, все ребяташки там были.

– Пусть! – Разгоралась мать. – У нас и так ребенок Богом обижен, и сами не знаем, за что, а ты еще беду накликаешь! Чтоб больше ни шагу!

Отчим закрепил наказ добрым подзатыльником.

Максим складывал на сарай только что скошенную зеленую траву. Так он за лето хороший стожок сгношит за пригоном.

– Чо, Костя, не изломали церкву? Не по зубам? Говоришь, и трактором не могли взять? Костя, завтра опять иди, картошку вечером окучим, гляди, кто что делать будет и запоминай. Ты грамотной, опиши все для людей. Как можно руку поднять на храм?

Костя чуть не засмеялся:

– Папка, ты же неверующий?

– Кто тебе сказанул? Запомни, сынок, кто на войне был, и смерть своими глазами видел, тот сразу делается верующим.

Костя насторожился:

– А ты разве смерть видел?

Максим воткнул вилы в кучу травы и закурил:

– Вот как тебя сейчас.

– Врешь! – Невольно выдохнул Костя.

– Два раза. – Отец не обратил внимания на грубое «врешь!» сына. – Первый раз – когда наркоз дали, в госпитале ногу пилили. Я вроде память теряю, а она заглядывает мне в глаза и шепчет: «Мой, мой, мой!». Я испугаться не успел, уснул. На другой день хирургу рассказываю, а он смеется: «Смерть – это пустяки. У нас один на прошлой неделе самого Гитлера видел и даже поймал его, но уснул. Бывает.». А второй раз, когда мать умирала. Я у кровати сидел, видел, что последние часы, она все в памяти была, потом махнула мне

ладошкой, уходи, мол. Я встал, а она над матерью стоит, та же самая, глянула на меня, улыбнулась, как старому другу, а матерее шепчет: «Пора, Мария, своей болью ты заслужила, что на небеса сразу пойдешь.». Я к матери, а она уж и не дышит.

Костя пришел в себя, спросил:

– Папка, а как верующим стать?

Максим засмеялся:

– Не знаю. Можя, тебе лучше и не быть, это все через горе и болезни приходит. Ну, знамо дело, от книжек священных, да где их взять? А завтра чего они собрались делать?

– Сказали, долбить будут.

– Иди и запоминай, после напишешь в тетрадку.

Венька ткнулся в калитку, увидел Максима, остановился:

– Проходи, меня, что ли, испугался? – засмеялся отец.

У Веньки синяк под глазом. Костя привычно спросил:

– Откуда?

– Мать врезала. А отца сковородником в воротах встретила и полчаса по огороду гоняла. Он ей кричит: «Дура, всю картошку вытопчем». А она свое: «Чтобы близко к церкви не подходил! Мало тебе немец оторвал, надо было все под самый корень! Совсем хошь нас погубить!». Дядя Максим, я седни у вас ночую, ладно?».

Максим подал ему вилы и сказал, чтобы всю траву ровненько по крыше разложили.

Славка еще в ограде услышал, что под сараем гости. Тихонько прошел, но отец увидел:

– Назови мужиков, кто под куполом лазил.

Славка назвал. И добавил, что завтра они же будут долбить стены ломами.

– Господи! – Мария Семеновна всплеснула руками. – Так ведь купол-то на них может упасть!

– Думаю, у них хватит ума убрать простенки, а несущие углы оставить, – подал голос Паша Менделев. – Хотя надо бы подсказать, а то рухнет купол и ...

Василий Матвеевич согласно кивнул и предложил Паше сходить завтра на обсуждение и разъяснить.

– Не пойду, – огрызнулся тот. – Пусть майор идет, он партийный. А я на войне сына потерял.

Майор Попов поморщился:

– Народишко там гнилой, и придавит, так не велика потеря. Но упредить надо. Опять же и церковь жалко. Я, когда в сельсовете работал, целую папку документов собрал, как ее строили, как на кладбище ходили всем миром канаву рыть, чтобы скот не бродил, потом сосенки привезли, каждый из дому кустики принес. А теперь смотри, какое у нас кладбище, все в округе завидуют.

– И заметь, – перебил Менделев. – Завидуют, а ведь никто не сделал. Потому что надо полвека ждать результата. А мы сейчас каждую весну тополя садим, если бы все приросли – в лесу бы жили. Ладно, хоть коровы да овцы все объедают.

Ночью случилась гроза, какие часто бывают в июле, с низкими тучами и железного звука громом. Нынешнюю грозу всей деревней посчитали за предзнаменование, но утром у сельсовета собралась большая толпа. В артель набирал Митя Рожень. В договор с сельсоветом включили Гришу Крутенького, Васю-Машкина сына, Макара-Чудака и Осташку Пимоката. Двое поднялись вперед, приняли на вожжах лома и пешни, кувалды и ведро с железными клиньями. Когда начали долбить, запоздалый гром так резко ударил в наступившей тишине, что Осташка кинул кувалду и стал спускаться на землю. Жена подбежала и прилюдно обняла:

– Спасибо тебе, Осташенька, у меня сердце на место встало. А эти как хотят. Гром – слышал – ну, не просто же так!

– Очень даже просто, – сказал школьный физик. – Остались от ночной грозы заряды, вот и собралась в кучку, отсюда разрыв.

– «В кучку, в кучку», – передразнил дед Поликарп. – Кучки только за пригоном бывают, у кого тавалета приличного нет. Гром – это вон тем придуркам предупреждение. Ладно, иди, кого с тебя возьмешь?

Три дня долбили стены, оставляя по столбу на всех углах. Получалось, если сейчас дернуть за один угол, то потерявший опору купол рухнет на свод молельного зала и может проломить его. Стали думать. Выход подсказал майор Попов:

– Надо расширить на куполе отверстие, где стоял крест, а потом через него пропустить трос. Тогда резким рывком можно сдернуть купол вниз.

Провозились еще день. Постепенно интерес у народа пропал, только кучка старушек не покидала своего поста в стороне, у самого магазина. Когда все тросы были готовы, пригнали трактор, прицепили, выровняли, тракторист, вызванный из соседнего колхоза, сдал назад, включил передачу, резко добавил оборотов и отпустил муфту. Трактор зверем рванулся с места, подняв нос, потом его дернуло, натянутые тросы сработали, купол сорвался с места и, упав на южное крыльцо, развалился на куски.

Первым пострадал Вася-Машкин сын. От предвкушения расчета и близкой выпивки он стал быстро спускаться, оступился и упал с лестницы. Орал нещадно. Привезли фельдшера, она распорол штанину и велела принести два обрезка тесинок. Нашли и принесли, ногу обвязали, чтоб не тряслась, и в кузове грузовика отправили в участковую больницу. Старуха Раздорчиха, подозреваемая в потомственном колдовстве, подошла и громко сказала:

– Это вам первый. Видит Бог: дальше хуже будет.

Ее прогнали, но холодок пробежал по спинам оставшихся артельщиков. Как-то понуро получили расчет, набрали водки и пошли к Макару. Пили до рассвета, потом уснули, кто где. Утром хватили Гришу Крутеня, а он уж холодный. Приехала милиция, врачи, Гриша почернел, как негр, сказали, что сердце остановилось.

Макар и Митя Рожень протрезвели, пошли под сарай, опохмелились.

– Митя, это все дело случая. Васька сорвался – куда было спешить? А Гришке давно врачи сказали про водку, что ни грамма. А мы вчера, – он окинул взглядом поле боя, – по литре приняли. Тут и без церкви можно крякнуть.

– Не поминай мне про церкву! Господи, черт меня дернул ухватиться за эти сто рублей! Все, я пошел.

Многие видели, как Митя Рожень подошел к развалинам, встал на колени, плакал и целовал рваные обломки купола. Кто-то напомнил проклятье Ивана Однорукого – сбылось. Никто не беспокоил Митю, пока не пришла жена и не увела его домой. Митя перестал пить и пошел работать пастухом, сказал, что в лесу со скотиной ему тихо и спокойно.

Макар погиб осенью. На гусеничном тракторе таскал солому с горы. Под большой зарод соломы он задним ходом подпихивал иглы волокуши, потом обносил зарод тросом, чтоб не свалился, трос крепил на поперечный брус. Дорога шла по краю оврага. Октябрь, гололед. Десять лет таскал солому по этой дороге Макар, а тут зарод накатился, полозья вывернулись по льду из накатанной колеи, и воз стал сваливаться в овраг. Митя это заметил поздно, когда весом прицепа трактор дернуло, вырвало из накатанного углубления, и он медленно поехал боком по крутому склону, потом зацепился за что-то и перевернулся несколько раз, пока упал на дно оврага.



Литературный клуб Исеть

<http://literklubisety.ucoz.com/>